

Дмитрий Иванович Писарев.

Идеализм Платона

*Сочинения в четырех томах. Том 1. Статьи и рецензии 1859-1862 М.,
Государственное издательство художественной литературы, 1955*

(Обозрение философской деятельности Сократа и Платона, по Целлеру; составил Клеванов) Есть такие привилегированные личности, которых имена пользуются особенно, часто незаслуженною и не всегда лестною популярностью. Вы встретите имя такой личности и в учебнике, и в собрании анекдотов для детей, и, пожалуй, даже в прописях. Действительная физиономия этой личности от частого употребления ее имени как-то стирается и заменяется каким-то условным понятием; личность делается представителем целого типа или воплощает в себе какое-нибудь отдельное качество и доводит его в себе до небывалых и невозможных размеров. Кто, например, в дни детства или юношества не воображал себе Баярда представителем рыцарства, хотя Баярд жил в такое время, когда рыцарство, особенно во Франции, превращалось уже в анахронизм? Кто не видел в Генрихе IV, короле французском, воплощения кротости и какого-то простоватого добродушия? Кто не смотрел на Платона, Сократа и Сенеку как на светила мира, воплотившие в себе всю мудрость греков и римлян? Эти светила мира, эти фокусы добродетели прославляются в учебниках, в которых, конечно, вы не найдете о них ничего, кроме возгласов, более или менее бесцветных и риторичных. Не подражая голословности учебников, многие серьезные исследования разделяют с ними подобострастное отношение к этим избранным личностям. Ослепленные блеском имени, имеющего за себя двухтысячелетний авторитет, исследователи, особенно немцы, проходя перед этими личностями, обезоруживают свою критику, скромно потупляют взоры и ограничиваются в отношении к ним ролью почтительного и аккуратного передатчика. Видно, что над ними тяготеет авторитет предания и школы. Излагая историю греческой философии, принято как-то относиться покровительственно к элеатской школе, к Гераклиту и Демокриту, к Пифагору и Анаксагору, потом с негодованием упомянуть о софистах, потом умилиться над личностью и судьбою Сократа, поклониться в пояс Платону, его Димиургу {1} и Идеям, назвать Аристотеля великим учеником его, часто несправедливым к великому учителю, потом разругать Эпикура, посмеяться над скептиками и выразить добродетельное сочувствие возвышенным доблестям стоиков. Это принято; этого требуют интересы нравственности {2} которую так ревниво берегут многие псевдохудожники и многие действительные труженики на обширном и так часто неблагоприятном поле науки. Эти нравственные воззрения, которые чуть ли не две тысячи лет проводятся в книгах и рукописях, часто не имеющих ни малейшего отношения к вопросам практической нравственности, поставили Сократа и Платона на тот несокрушимый пьедестал, с которого я, конечно, не попытаюсь свести почтенных стариков. Пусть они остаются на этих пьедесталах, но только повыше, подальше от нас; пусть их идеи почитаются святынею, непонятною и непригодною для нашего ветреного и безнравственного века и поколения. Пусть их возвышенный идеализм служит предметом благоговения для немногих избранных и пусть эти избранные гонят прочь непосвященную чернь, которую так не любит фешенебельный Гораций {3} и в

ряды которой охотно вмешаемся мы и охотно вмешали бы нашего читателя. Но мы не шутим: мне кажется, что книга г. Клеванова уже по выбору предмета может быть признана высоко-бесполезною и бесполезно-высокою попыткою популяризировать то, что не может и не должно быть популярно; кто хочет писать для всей читающей публики, тот должен обработать предмет живою, самородною критикою, взяться за дело с смелыми литературными приемами, произнести свое суждение, сказать живое, задушевное слово, хотя бы о мертвом и застывшем предмете. Что же касается до пионеров общества, до специалистов, то вряд ли извлечение из Целлера будет для них особенно драгоценным приобретением. Специалисты народ упрямый и склонный к сомнению; они любят добираться до источников и не загребают жара чужими руками. Диалектические тонкости, наполняющие собою большую часть книги г. Клеванова, для публики слишком тонки, бесцветны и бесцельны, слишком недоступны здравому смыслу, а для специалиста они слишком не новы. В одном только пункте г. Клеванов мог придать своему труду свежий колорит и живое биение; он мог бы показать отношение Сократа и Платона к практической действительности, к вопросам общественной жизни, к интересам народа, отдельной личности и государства. Он мог бы остановиться на практических следствиях идеализма и взвесить трезвою критикою особенности того влияния, которое этот идеализм мог оказать на человеческую личность и на отношения между людьми в семействе и государстве. Г. Клеванов этого не сделал; не сделал он этого потому, что над ним тяготеют два авторитета, Платон и Целлер; чтобы обсудить как следует, с современной или просто с человеческой точки зрения, поставленные выше вопросы, надо решиться думать своим умом, а это такая смелость, до которой и теперь не всякий охотник. Перед тенью Платона и Сократа благоговеет г. Клеванов; от печатной буквы Целлера он отступить не решается; при таких условиях мудрено сказать живое слово об идеализме; мудрено, во-первых, потому, что мысли, взятые у другого, в чужих руках всегда отзываются холодною сухостью, а во-вторых, потому, что Целлер, как немецкий теоретик, рассматривает Платона, любуясь красотою и стройностью системы и не обращая внимания на степень ее внутренней состоятельности и практической пригодности. У немецких мыслителей и критиков есть один очень честный, но часто донкихотский прием — становиться на точку зрения противника и сражаться с ним его же оружием. Таким путем вы можете уличить его в непоследовательности, но не уличите в непрактичности, потому что практическая жизнь представляется каждому различно, смотря по его темпераменту, по его положению, по степени и по условиям его развития. Мне кажется, критик может идти по другому пути: он может не требовать от себя полной и бесстрастной объективности, не переноситься искусственно в чужое воззрение и оставаться полным человеком с живыми убеждениями, с ясно обозначенными и нимало не скрываемыми симпатиями и антипатиями. Он может представить читателю сущность разбираемых им мыслей, потом развить свои идеи, показать между теми и другими точки соприкосновения и разногласия, защитить свои положения от нападок и возражений, могущих прийти на ум читателю, и, наконец, представить самому читателю выбор между ним и предметом его рецензии. "Du choc des opinions jaillit la verite", {Из столкновения мнений рождается истина (франц.). — Ред.} говорит известная поговорка, и если это изречение справедливо, то объективность не всегда может быть признана в критике великим достоинством. Трудно быть субъективнее Маколея, а между тем никто не упрекнет знаменитого историка ни в пристрастии, ни в узкой односторонности. Личности оживают под его пером и отдают полный отчет в своих поступках, в своих мыслях и побуждениях; перед глазами читателя происходит величавый процесс, в котором живой и умный

англичанин, оратор и парламентский боец, является то обвинителем, то адвокатом выводимой личности, смотря по тому, куда влечет его голос совести и личного убеждения. Кроме описываемой и разбираемой исторической личности, читатель видит перед собой образ критика, видит, как меняется выражение этого умного и подвижного лица, слышит в его дикции то сочувствие, то негодование, то иронию, то одушевление, которые возбудили бы во всяком энергическом человеке те или другие явления жизни и человеческой мысли. Излишнее увлечение может, конечно, повредить ясности взгляда, но с даровитым критиком этого случиться не может. У кого деятельность анализирующей мысли преобладает над потребностью самостоятельного творчества, кто по темпераменту более критик, чем художник, тот даже в минуту энтузиазма не вдается в фантазерство. В эти минуты, когда полнее дышит грудь, когда живее бьется сердце, в эти минуты быстрее работает мозг, смелее и оригинальнее льются мысли, и кропотливый контроль над этой ускоренною деятельностью анализирующего ума оказывается так же бесполезен, как бесполезно труженическое шлифование лирических стихов, вылившихся из души истинного поэта в минуту искреннего волнения. Талант всегда имеет свою оригинальную физиономию, и ему трудно отрешиться от этой физиономии; что бы он ни писал, художественное ли произведение или критическое исследование, он положит на него свою печать и не погонится за искусственным спокойствием тона и за умышленною объективностью. Когда говорят о Платоне, то всякий развитой человек понимает, что от него нельзя требовать того, чего мы теперь потребовали бы от любого студента; никто не думает сравнивать его даже с каким-нибудь современным обскурантом, никто не ставит ему в вину ребячество многих его политических воззрений и тенденций; но, воля ваша, признавая его сыном своего народа и своей эпохи, мы не можем относиться с почтительною и бесстрашною вежливостью к его нравственным и политическим теориям. Предмет близок к сердцу, потому что Платон захватывает в свои исследования такие вопросы, которые постоянно на очереди и которые человечество в каждом поколении решает и перерешает по-своему. К таким вопросам остается совершенно равнодушною только кабинетная ученость почтенного Целлера и похвальная скромность его усердного последователя г. Клеванова. В благоговении к Платону, выражающемся в книге г. Клеванова, не слышно горячего сочувствия; г. Клеванов на каждой странице свидетельствует Платону свое почтение, но ни разу, излагая его мысли, не обнаруживает того воодушевления, с которым живой человек всегда выскажет свою задушевную мысль, свое заветное убеждение. Язык г. Клеванова везде остается гладок, ровен, методичен; мысли медленно развиваются одна из другой; изложение ясно, правильно, вяло и утомительно. С этой минуты я могу устранить личность г. Клеванова из моей критической статьи; он верно следует Целлеру и передает мысли Платона, не разбирая их и не обнаруживая к ним действительного сочувствия. По общему тону изложения можно предположить, что г. Клеванов идеалист, но дальнейшее разъяснение этого вопроса представляет так мало общего интереса, что мы предпочитаем перейти к самому Платону. В личности этого греческого философа можно видеть на нервном плане сильное поэтическое дарование, т.е. богатую фантазию и огромное стремление к творчеству. С отзывчивостью, свойственною поэту, Платон откликнулся всею своею жизнью, всею деятельностью на самый животрепещущий интерес эпохи, воплотившийся в личности Сократа. Дело Сократа было действительно так красиво и величественно на взгляд, что им немудрено было увлечься. Человек незнатный, небогатый, неученый, невзрачный беретя быть учителем нравственности для целого народа, старается влить живые соки в истощенное национальное сознание, побеждает одною непосредственною искренностью убеждений знаменитейших

диалектиков своего времени, перетягивает на свою сторону всю даровитую молодежь и, наконец, падает жертвою реакции и до конца жизни сохраняет непоколебимую твердость и спокойное присутствие духа. Смерть Сократа часто обезоруживает даже новейшую критику, готовую приступить с анатомическим ножом к диссекции его философской системы. Философия Сократа, говорят многие, хороша уже потому, что поддержала его в минуту смерти; он своею мученическою кончиною, говорят многие, запечатлел свое учение. Этот аргумент будет иметь свою силу, если мы безусловно примем положение Сократа о том, что знать истину и делать добро — одно и то же; но мы этой ошибки не сделаем и сумеем, конечно, отделить, область воли от области знания. Сократ умер как мужчина, потому что был мужчиною, а не потому, что его поддерживали в минуту смерти положения его философии. Одна и та же мысль производит на различных людей различное впечатление; из одной и той же школы выходят люди с различными наклонностями и стремлениями; человек — не пустая бутылка, в которую можно влить какую угодно жидкость. Смерть Сократа рисует только личность этого человека, не говоря ничего ни про, ни contra его учения. Смерть Сократа доказывает, что Сократ был не фразер, но не говорит нам, что он не мог ошибиться в теории или в жизни. Факты подтверждают мое мнение о том, что честность и стойкость Сократа принадлежали его личности, а не его учению. В числе учеников и друзей Сократа мы находим Алкивиада и Крития, главного предводителя олигархии, одного из 30-ти тиранов, — человека, которого имя по справедливости было ненавистно его современникам и согражданам. Ни Алкивиад, ни Критий не отличались ни политической честностью, ни стойкостью убеждений, стало быть, учение Сократа оказалось несостоятельным, когда нужно было исправлять нравственность и переделывать природу человека. Но тем не менее личность Сократа не могла не зарекомендовать в глазах Платона проповедуемого им учения; Платон увлекся личностью и сделался ее ревностным прозелитом, тем более что философия Сократа открывала широкий простор фантазии и творчеству мысли. Поэтический гений Платона получил решительный толчок и стал творить в том направлении, которое было ему указано любимым наставником. Во всем этом еще не было большой беды, хотя, быть может, позволительно пожалеть о том, что поэт оставил светлый мир образов и картин и переселился в возвышенные, но холодные сферы отвлеченной мысли. Красота, к которой Платон стремился как художник, стала являться ему отрешенная от всякой внешней формы, или, вернее, он сам старался отрешить ее от формы, проникнуть в ее общую сущность, уловить ее в полной отвлеченности. Началось стремление к идеалу, т. е. к призраку, к галлюцинации. Богатая полнота жизни, рельефность материи, переливы линий и красок, пестрое разнообразие явлений — все, чем красна и полна наша жизнь, стало казаться Платону злом, ширмою, за которою насильно скрыта, как красавица в заколдованном тереме, истина мира, нетленная, неизменная, вечная красота. Пылкая фантазия усилила эти мечты; галлюцинация Платона дошла до того, что он верил в действительное существование идеи отдельно от явления; идеализм сразу поднялся на такую поэтическую высоту вымысла и вместе с тем сразу дошел до такого полного отрицания самых элементарных свидетельств опыта, какого, вероятно, он не достигал никогда ни прежде, ни после Платона. Под творческою, размашистою кистью его создалась целостная, фантастически-величественная картина мира. Димиург, идеи, мировая душа, масса материи с ее тупою инерциею, звезды и светила, живущие своею жизнью и мыслящие в бесконечном пространстве, — все это создается под пером Платона, начинает жить и дышать, все это производит такое впечатление, как будто бы оно действительно существовало, и все это только потому, что Платон крепко верит в свое создание, да еще потому,

что Платон — великий художник, подобный Гомеру, Данту или Мильтону. Вся физика Платона есть чистое создание фантазии, не допускающее в слушателе тени сомнения, не опирающееся ни на одно свидетельство опыта, развивающееся само из себя и основанное на одной диалектической разработке идеи, положенной в основание. Платонизм есть религия, а не философия, и вот почему он имел такой громадный успех в мистическую эпоху падения язычества; вот почему он сохранился и взлелеян византийскими учеными, передан Италии и Европе в эпоху Возрождения, поставлен на незыблемый пьедестал и под разными именами живет и теперь. У кого нет самостоятельного творчества, тот примыкает к чужой фантазии и делается ее адептом. Из многих подобных фантазий фантазия Платона отличается высоким полетом мысли и смелою концепцией общей картины. Немудрено, что к его идеям примыкают с полным сочувствием многие мистики, отличающиеся развитым умом и тонким эстетическим чувством. Платон верил в создания своей фантазии; он считал их за безусловную истину и ни разу не становился к ним в критические отношения; одна секунда сомнения, один трезвый взгляд могли разрушить все очарование и рассеять всю яркую и великолепную галлюцинацию. Но этой роковой секунды в его жизни не было, и на всех сочинениях Платона легла печать самой фантастической и в то же время спокойной веры в непогрешимость своей мысли и в действительность вызванных ею призраков. Вера в самого себя тесно связана с умственной нетерпимостью, а умственная нетерпимость ждет только удобного случая, чтобы воздвигнуть действительное гонение на диссидентов. Пока Платон остается в сферах отвлеченной мысли или, вернее, свободного вымысла, до тех пор он является чистым поэтом. Когда он входит в область существующего, он становится доктринером. Как вам понравится, например, понятие Платона о любви! Он в беседе "Пиршество" определяет любовь как стремление конечных существ обессмертить и увековечить себя в постоянно новых порождениях. Первая степень любви, по мнению Платона, есть любовь к прекрасным чувственным формам; вторая — любовь к прекрасным душам; третья и высшая степень любви к прекрасным наукам и, наконец, как результат и венец дела, любовь к идее, которая порождает истинное познание и истинную добродетель (стр. 128). Очень понятно, что у человека, дошедшего до этой высшей квинтэссенции любви, не должно быть места для любви к женщине; стало быть, нравственное оскотление человечества во имя идеи должно быть конечною целью нормального развития. Вот к каким красивым результатам приводит доктринерское желание внести общую искусственно созданную идею во все живые явления и отправления жизни. Доктринерство Платона идет вразрез с действительностью и даже с его собственным жизненным опытом. Как художник, Платон был очень восприимчив к пластической красоте; как здоровый и сильный мужчина, развившийся под небом цветущей Греции, он не думал останавливать своих эротических стремлений, и любовь к идее не мешала ему любить направо и налево... отдавая дань эпохе и народу... Но зло было сделано; зерно аскетизма и вражды к материи было брошено; в эпоху Римской империи оно разрослось в учение новопифагорейцев и новоплатоников и, опираясь на Платона, принесло человечеству обильный плод добровольных заблуждений и бессмысленных самоистязаний. Кто не был поэтом подобно Платону, тот требовал от себя последовательности и страдал от разлада, существовавшего между идеею и жизнью, не понимая того, что идея берется из жизни, а не жизнь располагается по данной программе. Для такого человека являлась необходимость бороться с самим собою, и лучшие силы несчастного идеалиста уходили на бесплодную нравственную гимнастику, на отчаянную ломку, на искоренение страстей, на сглаживание самых своеобразных и жизненных черт

своей физиономии. Такого рода идеализм тяготел над Рудиными и Чулкатуриными {4} прошлого поколения; он породил наших грызунов и гамлетиков, людей с ограниченными умственными средствами и с бесконечными стремлениями. Смешно выводить этих господ от Платона, но можно заметить, что эти дряблые и хилые личности страдают именно тою болезнью, которую Платон воспел в своих философских творениях как лучшую принадлежность человечества и как единственное отличие человека от животного. Доктринерство Платона проходит чрез все его нравственное учение. Платон здесь, как и в своей физике, не смотрит на то, что дает жизнь; он не изучает естественных стремлений человеческой природы, да и к чему изучать? Абсолютная истина, в существование которой всю душу верит поэт-мыслитель, находится не в явлении, а где-то вне его, высоко и далеко, в таких сферах, куда может залететь пылкое воображение, но куда не поведет критическое исследование, основанное на изучении фактов. Платон считает себя полным обладателем этой драгоценной, хотя и невесомой истины; он утверждает, правда, что "душе в здешней жизни невозможно достигнуть вполне чистого воззрения на истину" (стр. 141); но это положение вовсе не ведет к тем следствиям, каких можно было от него ожидать; видно, что оно не проникает особенно глубоко в сознание Платона; Платон допускает то обстоятельство, что смерть может открыть его духу более обширный мир знаний, но не видно, чтобы он сознавал неудовлетворительность своего наличного капитала; не видно, чтобы он сомневался в верности своих идей; то, что он знает или создает творческою фантазиею, кажется ему безусловно верным и не допускает над собою никакого контроля. Вследствие этого Платон говорит в своей нравственной философии: должно думать так-то, поступать так-то, стремиться к тому-то. Эти приказания отдаются человечеству с высоты философской мысли, не допускают ни комментариев, ни возражений и требуют себе безусловного повиновения. Черты народного характера, коренные свойства человеческой природы возмущаются против этих указов Платона, но это несколько не смущает гордого мыслителя, упоенного созерцанием своих творений. Все, что не согласно с его инструкциями, признается ложным, случайным, незаконным, препятствующим общему благу всего человечества. А кто же, спросите вы, создал это понятие общего блага? Генерал-от-философии Платон, отвечу я, — и бедное человечество, опекаемое его неусыпными трудами, лишено дайте права голоса в таком деле, которое называется его общим благом. Добро, по словам Платона, должно быть предметом всякой человеческой деятельности; к добру должен стремиться каждый человек, потому что обладание добром составляет собою благополучие (стр. 209). Добро, или благо, — понятие чрезвычайно широкое и способное расширяться до бесконечности; для голодного кусок хлеба есть высшее благо, для влюбленного — благосклонный взгляд любимой женщины, для служащего человека — внимание начальника, повышение в чине и орден в петличку, для поэта — минута творчества и т. д. и т. д. И все эти господа правы с своей точки зрения; и если мы отнесемся иронически ко многим людским стремлениям и в то же время с уважением упомянем о других, то мы сделаем это только потому, что сами стоим ближе к одним и можем их лучше понимать и полнее им сочувствовать. Если один гастроном любит пить за обедом херес, а другой портвейн, то, вероятно, в целом мире не найдется такого критика, который мог бы доказать ясно и осязательно, что один из двух любителей прав, а другой ошибается. По логическому закону надо допустить, что предпочтее г. А к хересу, а г. Б к портвейну происходит или от физиологической причины, т.е. от особенностей неба, гортани или желудка, или от исторической причины, т.е. от приобретенной привычки, Пристрастие г. А к хересу, а г. Б к портвейну может подвергнуть того и другого разным неприятностям и

испытаниям. Если г. А попадет в общество любителей портвейна, то, при неумении нашего общества уважать чужое мнение, вкус его найдут странным, быть может даже испорченным; вокруг него будут пожимать плечами, на него будут смотреть удивленными глазами; далее, если г. А попадает в какой-нибудь маленький уездный городок, в котором нет порядочного хереса, то ему будет предстоять печальная альтернатива: отказаться от любимого напитка и приняться за другое вино или остаться верным самому себе и с несокрушимою твердостью переносить лишение. Находясь в положении г. А, одни пошли бы по одному пути, другие по другому, и мне кажется, можно выразить предположение, что ни тех, ни других не осудило и не прославило бы общественное мнение. Но вот в чем беда: когда надо судить о хересе и портвейне, мы остаемся спокойными, хладнокровными, мы рассуждаем просто, здраво и довольно искусно, хотя часто бессознательно, владем диалектическим оружием; но когда заходит речь о высоких предметах, тогда мы сейчас же принимаем постную физиономию, становимся на ходули и начинаем говорить высоким слогом, согласно с эстетическими требованиями прошлого столетия. Мы позволяем нашему ближнему иметь свой вкус в отношении к закуске и десерту, но беда ему будет, если он выразит самостоятельное мнение о нравственности, и еще более беда, чуть не побиение камнями, или «Камнем», {6} если он проведет свои идеи в жизнь, даже в своем домашнем быту. Если взвесить дело простым здравым смыслом, то мы имеем право требовать от нашего соседа только того, чтобы он не вредил нашей особе материальным насилием, чтобы он не портил умышленно нашей собственности и чтобы он не присвоивал ее себе мошенническими проделками. Рассуждать о его поведении вне этих трех случаев мы, конечно, имеем полное право, потому что, сколько мне кажется, нет той вещи в мире, которую нельзя было бы взять предметом разговора или критического анализа. Но, рассуждая таким образом о личности и поведении нашего соседа, мы должны помнить, если желаем быть логичны, что наши суждения о его нравственности настолько же имеют безусловное значение, насколько имеет его, например, мнение о том, что брюнетки красивее блондинок или наоборот. Ведь пора же, наконец, понять, господа, что общий идеал так же мало может предъявить прав на существование, как общие очки или общие сапоги, сшитые по одной мерке и на одну колодку. Если вы станете носить чужие очки, вы испортите глаза, если пройдете верст пять в чужих сапогах, вы в кровь изотрете ноги, если вы навяжете себе на спину котомку чужих убеждений, вы изнеможете под этою неестественною обузою; вы выбьетесь из сил, поправляя и привязывая ее к себе покрепче, а кончится все-таки тем, что котомка отвалится и пропадет где-нибудь на пыльной дороге, но воротить потраченные силы часто бывает очень мудрено, воротить потерянное время всегда невозможно, и свежесть первой молодости, доверие к самому себе почти всегда отрывается вместе с котомкою идеала и вместе с нею заваливается в дорожной пыли. Надо же, наконец, понять, что идеал не есть даже отвлеченное понятие, а просто сколок с другой личности; всякий идеал имеет своего автора, как всякая народная песня имеет не только родину, но даже и составителя. Добраться до имени того и другого всегда бывает очень трудно и в большей части случаев совершенно невозможно; но, составляя нравственный портрет одного лица, — портрет иногда польщенный, иногда просто обесцвеченный, — идеал годится только для того, с кого он снят, или для лет! людей, которые совершенно подходят к нему по темпераменту, по внешнему положению и по внутренним силам. Но трудно найти двух людей, совершенно сходных лицом; полное же нравственное сходство двух самостоятельно развившихся личностей составляет такое редкое явление, какого, кажется, и не встретишь во всей истории человечества; есть много бесцветных и безличных

субъектов, задавленных какими-нибудь внешними обстоятельствами, пригнанных на одну колодку общественной дисциплиной или отшлифованных на один образец тираническими законами моды и этикета; посмотришь на них, — они все покажутся похожими между собою и лицом, и голосом, и манерами; всякая оригинальность, выражающаяся в образе жизни, в прическе, в одежде, кажется в подобном обществе дерзостью, нарушением закона, оскорблением нравственности. Живой человек с сожалением посмотрит на такое общество; зачем, подумает он, эти господа добровольно поддерживают придуманные законы, от которых каждому отдельному лицу приходится терпеть лишения? Этот вопрос, вероятно, кажется вам здравым, а между тем все эти господа, стесняющие свою личную свободу во имя придуманных или наследованных законов, все до последнего — идеалисты, хотя, конечно, многие из них и не слышали никогда этого слова. Наше светское общество, наш beau monde битком набиты идеалистами, сознательно и бессознательно стремящимися к отвлеченному совершенству. Un jeune homme comme il faut, une jeune personne charmante {Благовоспитанный молодой человек, очаровательная девица (франц.). — Ред.} — эти два почетные титула, которыми награждает общество за усердное исполнение его устава, составляют в то же время заглавие двух идеалов, к которым, смотря по различию полов, стремится множество молодых людей, одаренных свежими силами и задатками развития. Эти молодые люди гибнут в нравственном отношении, сохнут и мельчают, оттого что стараются во имя идеала уничтожить свою личность или те зародыши, из которых, при благоприятных условиях, могла бы развиться самостоятельная индивидуальность. Множество браков по расчету, множество проделок сомнительного свойства, множество дуэлей делаются не для удовлетворения той или другой страсти, а во имя идеала или из страха перед общественным мнением, стоящего у подножия воздвигнутого им кумира. "Это принято", "это не принято" — вот те слова, которыми в большей части случаев решаются житейские вопросы; редко случается слышать энергическое и честное слово: "я так хочу" или "не хочу", а между тем каждый имеет разумное право произнести это слово, когда дело идет о нем и об его личных интересах. Принято и не принято значит другими словами согласно и не согласно с модным идеалом; следовательно, идеализм тяготеет над обществом и, сковывая индивидуальные силы, препятствует разумному и всестороннему развитию. Отвергая общий идеал, я не думаю отвергать необходимость и законность самосовершенствования. Я не считаю стремление к совершенству обязанностью человека. Сказать, что это обязанность, так же смешно, как сказать, что человек обязан дышать и принимать пищу, расти кверху и толстеть в ширину. Самосовершенствование делается так же естественно и произвольно, как совершаются процессы дыхания, кровообращения и пищеварения. Чем бы вы ни занимались, вы с каждым днем приобретаете большую техническую ловкость, большой навык и опытность. Это делается совершенно бессознательно и помимо вашего желанья, и это правило может быть применено не только к какому-нибудь ремеслу, но и к жизни. Все мы, несмотря на различие состояния, образования и положения в обществе, живем мыслью и чувствами, хотя деятельность нашей мысли тратится на самые разнородные интересы и хотя деятельность наших чувств возбуждается самыми разнокалиберными предметами. Все мы воспринимаем и перерабатываем впечатления, и чем больше мы живем, тем большую техническую ловкость мы приобретаем в этом занятии. Существование житейской опытности не подлежит сомнению; ее признают и уважают грамотный и неграмотный, образованный европеец и австралийский дикарь; эта опытность есть результат самосовершенствования; процесс ее приобретения есть процесс бессознательного, чисто растительного умственного развития; этот процесс может

встретить себе случайное содействие или случайное препятствие в окружающей обстановке, точно так же как процесс пищеварения может быть нарушен нездоровой пищей или восстановлен моционом и воздержанием. Наблюдения над природою человека, приведенные в систему и составившие собою собирательную науку, медицину, указывают на те предметы и на те отправления, которые вредят человеческому организму или приносят ему пользу. Сообразуясь с предписаниями науки, человек может вести правильный образ жизни, сберегающий его силы и содействующий его физическому благосостоянию. Но ни один порядочный медик не предпишет всем своим пациентам общую гигиену; он непременно изучит сначала темперамент каждого и потом расположит СБОИ предписания, сообразуясь с собранными материалами. В образованном обществе люди вообще больше думают о себе, нежели в простом народе, отчасти потому, что на это представляется больше средств и досуга, отчасти потому, что образование развивает и укрепляет самосознание. Образованный класс более простого народа заботится о своем здоровье, поддерживает его искусственными средствами и разными предосторожностями старается предотвратить могущее произойти расстройство. Точно такие же гигиенические меры по отношению к своему умственному развитию и нравственному совершенствованию принимает человек, сознавший в себе умственную "личность" и заботящийся о нормальности своих интеллектуальных отправлений. Положим, я сознал в себе стремление и способность к научным занятиям и, следуя внутреннему побуждению, принимаюсь читать и изучать историков и мыслителей. Не поставлю же я себе, подобно Берсеневу, {6} идеалом Т. Н. Грановского или П. Н. Кудрявцева. Не стану же я подражать ни Маколею, ни Нибуру, ни Тьерри, ни Гизо, как бы велико ни было мое уважение к этим передовым представителям человеческой мысли. Я себе не поставлю впереди никакой цели, не задамся никакою предвзятою идеею; я не знаю, к каким результатам я приду, и меня вовсе не занимает вопрос о том, что я сделаю в жизни; меня занимает самый процесс делания, я вижу, что никому не мешаю своей деятельностью, и на этом основании считаю себя правым перед собою и перед целым миром; я работаю и стараюсь облегчить себе труд или (что то же самое) вынести из каждого своего усилия возможно большее количество наслаждения; это, по моему мнению, альфа и омега всякой разумной человеческой деятельности. Процесс умственного развития и нравственного совершенствования допускает некоторые гигиенические приемы, но, конечно, одни и те же приемы не могут быть применены даже к двум неделимым. {7} Эти приемы состоят, конечно, не в том, чтобы пригонять личность к известному образцу; основанные на изучении самого неделимого, эти приемы клонятся только к тому, чтобы дать больше простора и разгула индивидуальным силам и стремлениям. Эмансипировать собственную личность не так просто и легко, как кажется; в нас много умственных предубеждений, много нравственной робости, мешающей нам свободно желать, мыслить и действовать; мы сами добровольно стесняем себя собственным влиянием на свою личность; чтобы избегнуть такого влияния, чтобы жить своим умом в свое удовольствие, надо значительное количество естественной или выработанной силы, а чтобы выработать эту силу, надо, может быть, пройти целый курс нравственной гигиены, который кончится не тем, что человек приблизится к идеалу, а тем, что он сделается личностью, получит разумное право и сознает блаженную необходимость быть самим собою. - Я стану избегать вредного для меня общества пустых людей по тому же побуждению, по которому с простуженными зубами не подойду к открытому окну, но я нисколько не возведу этого себе в добродетель и не найду нужным, чтобы другие подражали моему примеру. Надеюсь, что я достаточно оттенил различие, существующее между

стремлением к идеалу и процессом самосовершенствования. Вероятно, я не сказал ничего нового, но полагаю, что всякое самостоятельное убеждение имеет право выразиться в слове, хотя бы сотни людей исповедывали его в продолжение десятков и сотен лет. Кроме того, вопрос об идеализме живет и будет жить до тех пор, пока будут существовать мистические теории и неосуществимые стремления; стало быть, разъяснение этого вопроса, как бы ни было оно слабо и поверхностно, теперь еще не может быть излишним и несвоевременным. Возвращаюсь к нравственной философии Платона. Как я уже говорил выше, добро, по мнению Платона, должно быть для человечества предметом деятельности и источником высших наслаждений. _Понятие_ добра существует у него как абсолютная идея и не приводится ни в малейшую зависимость от личности и положения _понимающего_ субъекта. Что это самостоятельное, абсолютное понятие добра на самом деле есть произведение мозга Платона, это, кажется, не требует доказательства; человек мыслит только своим мозгом, точно так же как он варит пищу только своим желудком и дышит только своими легкими. Любопытно заметить, что Платон, ставящий служение добру в непременную обязанность всему человечеству, сам не вполне выяснил себе свои собственные представления о сущности и физиономии этого добра. В своих беседах "Теэтет" и "Федон" и в трактате о государстве Платон смотрит на все чувственные явления — как на зло, на наше тело — как на враждебное начало, на нашу жизнь — как на время заточения в глубоком и мрачном вертепе. Смерть представляется минутой освобождения, так что при этом воззрении остается только непонятным, почему Платон не ускорил для себя этой вожделенной минуты, почему он в теорий не оправдал самоубийства и почему он воспел благость Димиурга, виновника нашего заточения и всех связанных с ним зол и страданий. В других беседах Платона, например в "Филебе", высшее добро определяется как полное примирение чувственного начала с духовным, как гармоническое слияние того и другого, и средствами произвести это слияние почитаются изящные искусства и в особенности музыка. В враждебном отношении Платона к чувственному миру видно усилие могучего ума оторваться от родимой почвы, которая его вскормила и возрастила. Поэт-мыслитель хочет отрешиться от народного характера, от колорита окружающей действительности, от своей собственной плоти и крови. Грек, гражданин свободного города, здоровый и красивый мужчина, к которому по первому призыву соберутся на роскошный пир друзья и гетеры, старается во что бы то ни стало доказать себе, что в этом мире все — зло: и полная чаша вина, и жгучая ласка красивой женщины, и аромат цветов, и звуки лиры, и звучный гекзамер, и даже дружба, которая, по мнению греков, была выше и чище любви. Эти усилия доказать себе и другим то, против чего говорит свидетельство пяти чувств, не вызваны никакой действительной причиной и потому решительно не носят на себе печати искреннего воодушевления. Романтизм возникает обыкновенно в эпоху бедствий и страданий, когда человеку нужно где-нибудь забыться, на чем-нибудь отвести душу; я несчастлив здесь, мне здесь душно, тяжело, больно дышать, так я успокоюсь по крайней мере в той вечно-светлой, вечно-тихой и теплой атмосфере, которую создаст мое воображение и куда не проникнут ни горе, ни заботы, ни стоны страдальцев. Романтизм искренний, вызванный самою почвою, зарождается в эпоху Римской империи и развивается с ^решенною силою в средние века; отрицание доходит до ужасающих размеров; пропадает всякая вера в благородные стороны и побуждения человеческой природы, и вместо этой здоровой веры в действительность доходит до степени галлюцинации вера в действительное существование и недостижимое совершенство призрачного, заоблачного мира, фантазии. Сенека, Тацит, Марк Аврелий в своих сочинениях выражают с полною искренностью и с замечательною

силою момент грусти, негодования против настоящего и полного сомнения в будущем. Новоплатоники, эссеяне и египетские терапевты, {8} средневековые рыцари, монахи и отчасти трубадуры воплощают в себе момент романтического стремления оторваться от действительности и унести в лучший, сверхчувственный мир. У всех этих господ романтизм был потребностью души; в Риме после Августа порядочному человеку невозможно было жить полной жизнью; каждый день совершались самые отвратительные злодеяния: предательства, доносы, пытки, казни, игры гладиаторов, истязания рабов, апофеозы разных нравственных уродов и кретинов - все это поневоле должно было ожесточить самого добродушного оптимиста. Мыслящим людям того времени оставались только две дороги: или удариться в самый широкий разгул чувственности, или дать полную свободу своему воображению, утешаться его светлыми созданиями и во имя этих созданий вступить в открытую вражду со всею действительностью, начиная с собственного тела. По первому пути пошли эпикурейцы, По второму между прочими новоплатоники. Люди с трезвым критическим умом не могли верить в создания собственной фантазии и предпочитали, за неимением лучшего, грубые, но действительные наслаждения более тонким, но совершенно призрачным утешениям. Эпикуреизм и новоплатонизм, разгул чувственности и умерщвление плоти вызваны одною историческою причиною. Идти путем середины, т.е. проводить в жизнь теоретические убеждения и черпать свои идеи из житейского опыта, сделалось невозможным, потому что жизнь располагалась по воле немногих личностей и делалась жертвою случайности и произвола; тогда явились две крайности; одни совершенно отказались от идеи и стали искать наслаждения в физических отправлениях жизненного процесса; другие совершенно отказались от жизни и стали любоваться построениями своего мозга. Оба направления должны быть оправданы как произвольные и естественные отклонения от обыкновенного порядка вещей. Но если мы перенесемся к эпохе Платона, то трудно будет себе представить, что могло вызвать с его стороны враждебные отношения к физическому миру явлений. Ни нравственное, ни политическое состояние Греции во время Пелопоннесской войны и после ее окончания не было до такой степени плохо, чтобы привести мыслителя в отчаяние и вызвать с его стороны безусловное осуждение. Многие стороны греческого быта, например рабство и _известного рода разврат_, могли бы возмутить человека нашей эпохи, но Платон не относился к ним строго и не понимал их отвратительности. Рабы остаются рабами в его идеальном государстве, а разврат он идеализирует, видя в нем эстетическое стремление и набрасывая покрывало на физические последствия... Платон, как известно, составил проект идеального государственного устройства и, кажется, старался даже осуществить свой политический идеал в Сиракузах, в Сицилии. Из этого следует заключение, что он верил в возможность земного счастья и что существующие в наличности материалы не казались ему настолько негодными, чтобы из них было невозможно построить прочное и красивое здание. Как же после этого понимать враждебное отношение Платона к чувственному миру? Мне кажется, его должно понимать только как теоретический вывод Платоновой мысли, которому не сочувствовала и на который даже не обращала внимания живая человеческая природа поэта-мыслителя. Все скверно в материальной жизни, говорит доктрина Платона; напротив, все прекрасно и способно сделаться еще лучше, возражает его поэтическое чувство, и этот голос непосредственного чувства поддерживается примером его собственной жизни, светлым колоритом его фантазий и чувственною яркостью самых, невидимому, отвлеченных его представлений. Поэт-мыслитель постоянно ищет образа и воплощает свои идеи в формы, заимствованные из мира

материи; этим самым он показывает, что этот мир вовсе не внушает ему отвращения и что великая идея не оскверняется от соприкосновения с чувственным явлением. Но Платону было необходимо указать на источник и возможность зла; это такой вопрос, которого не обойдешь ни в какой философской системе, ни в каком поэтическом мирозерцании. Приписать зло воле Димиурга было мудрено; против подобной мысли возмущалась и здравая логика и эстетическое чувство Платона. Навязать доброму и мудрому существу все гадости и, несовершенства человеческой жизни значило уничтожить возможность его существования и перевернуть вверх дном всю красивую систему Платонова мироздания. Олицетворить зло в отдельном понятии, создать идею зла и противопоставить ее идее добра было также невозможно. Это подало бы повод к неисчислимым и неразрешимым вопросам и противоречиям. Если зло вечно, то, стало быть, оно естественно, а если оно естественно, то оно не есть зло. Если Димиург воплощает в себе идею могущества и отличается самыми благими стремлениями, то он хочет и должен истребить зло, а если он не истребляет его, то, стало быть, он не в силах сделать этого. Чтобы избежать подобных противоречий, Платон обращается к материи и путем диалектических доводов доказывает, что она-то есть невольная и бессознательная причина зла. Принужденный признать инертное могущество и вечность материи, существующей помимо воли Димнурга и только получающей от него свою форму, Платон доходит до теоретического убеждения, что зло есть свойство материи. Создавая какое-нибудь существо, Димиург кладет на материю печать известной идеи, но материя слишком груба, чтобы воспринять этот отпечаток в полной ясности и чистоте; материал сопротивляется руке художника, и это невольное сопротивление даже олицетворяется у Платона под именем неразумной мировой души; в этом сопротивлении и лежит начало зла. Из этого видно, что пессимизм Платона не вытек живую струею из его непосредственного чувства и не был вызван обстоятельствами и обстановкою его жизни, а выработан путем умозаключений и никогда не проникал глубоко в его личность. Противоречие, в которое впадает Платон, развивая почти рядом два, чуть не диаметрально противоположные, мирозерцания, открывает нам одну из симпатичнейших сторон его личности. Это противоречие ясно показывает, что доктринер не мог победить в Платоне поэта и человека и что живые инстинкты и живые симпатии его души вылились наружу, не стесняясь мертвою буквою писаной системы. Но между тем доктрина развивается своим чередом; Платон как мыслитель выводит крайние следствия своей философской системы, а Платон как человек и жизнью и словом протестует против порождений своей собственной мысли. Впечатлительный, изменчивый и подвижный, как истинный поэт, он противоречит самому себе и сам того не замечает, сам не думает о том, чтобы как-нибудь сблизить и примирить два противоположные воззрения. Обращаясь так нецеремонно с собственными теориями, Платон не допускает подобной свободы для других; его возмущают существующие непоследовательности и отклонения от разумности в сфере частной и государственной жизни. Не будучи в состоянии внести строгое единство даже в мир собственной мысли, он хочет подчинить неизменным законам все явления человеческой жизни, водворить строгую правильность и разумность во все отношения между людьми в семействе и в государстве. На место живого развития жизни он хочет поставить неизменное и неподвижное создание своей творческой мысли. Трактат Платона о государстве не есть произведение свободной фантазии, не есть красивая игрушка, которой житейскую бесполезность и неприменимость сознавал бы сам творец. Это почти проект, и любимую мыслью Платона было привести его в исполнение. Перестроить общество на новый лад, заставить целый

народ жить не так, как он привык и как ему хочется, а так, как, по моему убеждению, ему должно быть полезно, это, конечно, такая задача, за которую теперь не взялся бы ни один здравомыслящий человек. Во время Платона такая задача была, вероятно, так же неисполнима, как и теперь, но на вид она должна была казаться гораздо легче уже потому, что греческая народность была разбита на множество мелких государств и что оратор, стоя на площади в Афинах, мог говорить чуть не с целую национальностью. Сословие свободных и полноправных граждан было очень ограничено в сравнении с целым народонаселением; это сословие одно имело возможность изменять по своему благоусмотрению физиономию государства, а умами этого сословия действительно мог управлять любимый оратор или писатель. Это обстоятельство, конечно, не могло повести к тому, чтобы законы и учреждения, придуманные одним лицом и не воспитанные самою почвою, могли остановить поток исторической жизни или дать ему произвольное направление; но оно могло по крайней мере внушить Платону обманчивые надежды; оно могло уверить его в возможности составлять и прикладывать к делу проекты государственного устройства. Мы до сих пор видели Платона как поэта, как доктринера; не разделяя его фантастических бредней, мы принуждены были признавать в его созданиях много искреннего воодушевления, много смелости и силы воображения; не сочувствуя его нравственным принципам, мы не могли отказать им во внутренней стройности и последовательности. Этой последовательности не повредила даже двойственность его воззрений на материю и ее отношения к человеческому духу; как мыслитель, задавшийся известною идеею, Платон смело дошел до крайних выводов; как живой человек, он пошел совершенно другою дорогою и доказал, таким образом, в одно и то же время силу своей творческой мысли, крепость своей физической природы и невозможность втиснуть жизнь в узкие рамки теории. Словом, в конце концов можно вывести заключение, что Платон имеет несомненные права на наше уважение как сильный ум и замечательный талант. Колоссальные ошибки этого таланта в области отвлеченной мысли происходят не от слабости мысли, не от близорукости, не от робости ума, а от преобладания поэтического элемента, от сознательного презрения к свидетельствам опыта, от самонадеянного свойственного сильным умам стремления вынести истину из глубины творческого духа, вместо того чтобы рассмотреть и изучить ее в единичных явлениях. Несмотря на свои ошибки, несмотря на полную несостоятельность своей системы, Платон может быть назван по всей справедливости родоначальником идеалистов. Составляет ли это обстоятельство важную заслугу пред лицом человечества — это, конечно, такой вопрос, на который ответят различно представители различных направлений в области отвлеченной мысли; но как бы ни был решен этот вопрос, все-таки никто не откажет Платону в почетном месте в истории науки. Есть такие гениальные ошибки, которые оказывают возбуждательное влияние на умы целых поколений; сначала увлекаются ими, потом к ним становятся в критические отношения; это увлечение и эта критика долгое время служат школою для человечества, причиною умственной борьбы, поводом к развитию сил, руководящим и окрашивающим началом в исторических движениях и переворотах. Но Платон не остановился в области чистого мышления и не понял того, что, пренебрегая опытом и единичными явлениями, нельзя понимать истинного смысла исторической и государственной жизни. Он взялся за решение практических вопросов, не умея их даже поставить как следует; его попытки в этом роде до такой степени слабы и несостоятельны, что они распадаются в прах от самого легкого прикосновения критики; в этих попытках нет ни разумной любви к человечеству, ни уважения к отдельной личности, ни художественной стройности, ни единства цели, ни

нравственной высоты идеала. Представьте себе причудливое и некрасивое здание, с арками, фронтонами, портиками, бельведерами и колоннадами, не имеющими никакого практического назначения, и вы получите понятие о том впечатлении, которое производят на читателя трактаты Платона о государстве и о законах. "Первая цель государства, по мнению Платона, сделать граждан добродетельными, обеспечить вещественное и нравственное благосостояние всех и каждого" (стр. 223). Новые исследователи, например Вильгельм Гумбольдт ("Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen" {"Мысли к опыту определения границ деятельности государства" (нем.). — Ред.}), смотрят на дело иначе и определяют государство как охранительное учреждение, избавляющее отдельную личность от оскорблений и нападков со стороны внешних и внутренних врагов. Этим определением они избавляют взрослого гражданина от своеобразной и непрошенной опеки, которая в продолжение всей жизни тяготеет над ним в государстве Платона. Оставляя в стороне неверность основного взгляда, мы увидим, что даже та цель, которую задается Платон, не может быть достигнута теми средствами и приемами, которые предлагаются в его трактатах. Граждане должны быть добродетельны, а между тем Платон предписывает им такие оскорбительные стеснения, против которых возмущается нравственное и эстетическое чувство; уму читателя представляется такая дилемма: или граждане, как порядочные люди, не вынесут этого стеснения, и тогда все учреждения Платона пойдут прахом; или они подчинятся этим стеснениям и, систематически развращенные ими, потеряют способность быть добродетельными. Добродетель, даже как понимает ее Платон, и соблюдение законов в его идеальном государстве составляют два несовместимых начала. Мудрость, мужество, самообладание и справедливость представляются четырьмя главными добродетелями в нравственной философии Платона. Спрашивается, которая из этих четырех добродетелей отнимает у человека право свободной критики и приводит к безусловному повиновению? Если же ни одна из этих добродетелей не пригодна для послушных граждан идеального государства, то это значит, что Платон отделяет идеал человека от идеала гражданина. Многие мыслители древности, между прочими и Аристотель в своей "Политике", говорят, что добродетель доступна только полноправным гражданам и не существует ни для раба, ни для ремесленника, ни для женщины. Но Платон, подчиняя всех граждан своего государства неестественным и оскорбительным стеснениям, идет гораздо дальше. Он дает обществу такое устройство, которое самым фактом своего существования делает невозможным не только осуществление идеала, но даже стремление к нему. Со стороны мыслителя, по понятиям которого вне идеала нет спасения, такого рода распоряжения должны показаться чрезвычайно оригинальными. Если идеал человека неосуществим даже теоретически в гражданском обществе, то из этого следует заключение, что человеку следует жить и развиваться вне общества или же что пресловутый идеал есть бесполезная игрушка праздного воображения. Ни то, ни другое заключение не понравилось бы Платону, но устранить оба заключения можно, только отказавшись от утопической теории или перестроив идеал. В государстве Платона есть чиновники, воины, ремесленники, торговцы, рабы и самки, но людей нет и не должно быть. Каждая отдельная личность есть известной формы и величины винт, шестерня или колесо в государственном механизме; кроме этой служебной должности, он ни в каком кругу не имеет никакого значения; он не сын, не брат, не муж, не отец, не друг и не любовник. С минуты рождения его отрывают от груди матери и помещают в воспитательный дом; его не показывают родителям в продолжение нескольких лет, и его происхождение умышленно забывается; его воспитывают наравне со всеми детьми его возраста, и он, как

только начинает помнить и сознавать себя, чувствует, что он — казенная собственность, не связанная ни с кем и ни с чем в окружающем его мире. Он вырастает и получает известную должность; его делают воином, и военные упражнения становятся главным его занятием и развлечением; в эти упражнения он, как хороший гражданин, обязан вложить те остатки энергии и души, которых не успело засушить школьное воспитание. Когда у него появляется борода и развивается мужская сила, его осматривает и свидетельствует особый сановник (стр. 265) и потом приводит к нему молодую девушку, которая, до его убеждению, годится ему в жены. Приплод идет на пользу общества, и с ним поступают точно так же, как поступали с его родителями. Когда мужчина становится стариком, его делают гражданским чиновником и определяют в одно из существующих ведомств; он становится судьей, казначеем или воспитателем юношества, смотря по тому, на что его найдут годным. Занятие торговлею или ремеслом считается унижительным для полноправного гражданина и запрещено законами. Внешние формы, в которые должны воплотиться эти политические убеждения, едва набросаны в сочинениях Платона. Он считает нужным, чтобы во главе государства стояли достойнейшие и мудрейшие, но ему решительно все равно, будет ли там один мудрейший или несколько мудрейших. Демократическая форма правления ему противна как аристократу по рождению и как человеку, считающему себя неизмеримо выше массы по умственным силам и по нравственному достоинству. Вот несколько выписок из книги г. Клеванова, в которых эта сторона теории Платона очерчена довольно ясно. "Относительно вопроса: правительство должно ли быть основано на согласии народа или действовать на него силою, Платон прямо высказывает убеждение, что если нужно согласие масс народа, то никакие самые благоразумные учреждения не могут быть никогда приведены в действие. Сознający свои обязанности правитель должен поступать с зависящими от него людьми как благоразумный врач; не спрашиваясь их согласия, волею-неволею должен давать он им горькое, но полезное лекарство" (стр. 225). "Далее Платон говорит, что неблагоприятно было бы мудрого правителя стеснять законами" (стр. 225). "Вообще Платон приходит к решительному убеждению, что массы народа неспособны управлять сами собою и что невозможно требовать, чтобы им когда-нибудь было доступно и понятно истинное искусство управления" (стр. 226). "Но Платон, имея самое невыгодное понятие о степени нравственного развития масс народных, не мог допустить, чтобы большинство людей подвластных терпеливо и с покорностью сносило власть мудрецов; а потому Платон должен был вооружить своих правителей-философов такою властью, которой было бы достаточно для приведения в исполнение их распоряжений; вследствие этого они должны были иметь всегда под руками достаточное число деятельных и способных исполнителей. Таким образом уяснилась для Платона потребность в отдельном сословии воинов, которое должно иметь целью своей деятельности не столько защиту государства извне, сколько поддержание внутри него порядка и общественного спокойствия" (стр. 229). "А потому Платон в своем трактате о государстве, запрещая ложь частному человеку, допускает обман как средство управления в руках властителей" (стр. 218). Эти выписки прямо показывают, что, по понятиям Платона, со стороны правителей не существует обязанности в отношении к управляемым личностям; обман, насилие, произвол допускаются как средства управления. Законы нравственности, существующие для частных лиц, теряют обязательную силу для государственных деятелей. Они должны быть мудрыми, но право судить о степени их мудрости отнимается у наиболее заинтересованных личностей и предоставляется, кажется, одному Димиургу. С одной стороны, произвол имеет

только те границы, на которых он сам заблагорассудит остановиться. С другой стороны, покорность не имеет никаких пределов. Если она начинает ослабевать, ее следует подкреплять искусственными средствами, нравственными или физическими, слабыми или сильными, смотря по комплекции пациента и по благоусмотрению врача. Устранение вредных влияний должно играть важную роль в курсе воспитания или лечения, которому должны подвергаться граждане идеального государства. Гомер изгоняется как безнравственный сказочник. Мифы пересочиняются и пропитываются высокими идеями. Статуи Аполлона и Афродиты в интересах приличия прикрываются костюмом. Чтобы соседние народы не могли вводить в соблазн граждан идеального государства, сношения с иностранными землями должны быть по возможности затруднены и ограничены: "Путешествия за границу дозволены только людям зрелого возраста, и притом не иначе, как или для собственного образования, или для государственных целей. По возвращении граждане должны подвергаться испытанию, не принесли ли они с собою вредных убеждений" (стр.

267). Разбирать подобные положения бесполезно; они сами говорят за себя очень громко и красноречиво. Позволю себе заметить, что, к чести человечества, дух политических идей Платона никогда не пытался завоевать себе место в действительности. Сумасброднейшие деспоты — Ксеркс персидский, Калигула и Домициан — никогда не пробовали почерком пера уничтожить семейство и поставить свой народ на ступень конского завода. К счастью для своих подданных, эти господа не были философами; они казнили людей для препровождения времени, но по крайней мере они не реформировали человечества и не старались систематически развратить своих сограждан. Просвещенные и умные деспоты вроде Людовика XI, Тиверия и Фердинанда Католического оказывали на своих подданных сознательное влияние, но их проекты и отдаленнейшие мечты никогда не достигали того величия и той смелости, которыми отличаются идеи Платона. Стремления у них были общие; но, увлекаясь поэтическим гением, Платон проводит эти стремления с беспримерною силою; злейшим врагом этих стремлений был могучий дух критики и сомнения, элемент свободного мышления и личной оригинальности, и этот элемент ненавистен Платону; нравственною опорой им служила вывеска народного блага, и этою же вывескою пользуется Платон; материальною поддержкою их было войско, и эта же самая сила имеет важное место в государстве Платона. Эти правители, подобно мудрецам идеального государства, считали себя достойнейшими и лучшими из своих сограждан людьми, призванными быть воспитателями и врачами неразвившегося и нравственно больного человечества. Римские пытки и казни, испанская инквизиция, походы против альбигойцев, клетка кардинала La Value, {9} костер Гуса, Варфоломеевская ночь, Бастилия и проч. и проч. могут быть названы горькими, но полезными лекарствами, которые в разные времена и в разных дозах врачи человечества давали своим пациентам волею-неволею, не спрашиваясь их согласия. Принцип, проведенный Платоном в его трактатах о государстве и о законах, неизвестен новейшей европейской цивилизации.

1861 10 апреля.

ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые опубликована в журнале "Русское слово" за 1861 г., кн. 4; затем вошла в ч. 9 первого издания сочинений (1868 г.). Варианты текста этих публикаций незначительны. Здесь воспроизводится по тексту первого издания с исправлением мелких его погрешностей по тексту журнала.

1 Димиург (по иному, более принятому произношению — демиург) божественное начало, творец мира, согласно идеалистическому учению Платона.

2 Буржуазные историки философии стремились всячески преуменьшить заслуги представителей материализма в древнегреческой философии, превратно истолковать важнейшие положения их учения, всячески превознося в то же время философов-идеалистов, особенно Сократа и Платона, — это и имеет в виду в данном случае Писарев.

3 Писарев, называя римского поэта Горация (65-8 до н. э.) фешенебельным, имеет в виду его аристократизм, приводивший к прислужничеству перед императорской властью. Враждебное, аристократически-презрительное отношение Горация к демократии выразилось в частности в известной фразе его оды: "Procul profani" ("Прочь, непосвященная чернь"), которую любил цитировать Писарев, характеризуя антидемократизм теории "чистого искусства".

4 Чулкатурин — герой повести И. С. Тургенева "Дневник лишнего человека".

5 Под Камнем здесь подразумевается поэт П. И. Вейнберг (псевдоним: Камень Виногоров), выступивший против Е. Толмачевой (см. подробнее в прим. 11 к статье "Схоластика XIX века").

6 Берсенев — персонаж романа Тургенева "Накануне".

7 Неделимый (или неделимое) — устаревшее слово, употреблявшееся в значении: индивидуум.

8 Новоплатоники (неоплатоники) — представители реакционного философского направления античной философии, сложившегося в III в. н. э.; эклектическое по своему составу, идеалистическое и мистическое учение неоплатоников оказало влияние на развитие христианства. — Эссеяне (ессеи) древнееврейская мистическая секта, возникшая в Палестине во II в. до н. э. и стремившаяся в аскетизме и уединении найти спасение от разврата городской жизни. — Терапевты — религиозное общество евреев, возникшее во II в. до н. э. в Александрии, близкое по взглядам к ессеям.

9 Клетка La-Value. — Ла Валуэ (1421-1491) — кардинал; был заключен Людовиком XI, подозревавшим его в заговоре против королевской власти, в железную клетку, в которой и просидел 10 лет.